



М. О. ГЕРШЕНЗОН

Мудрость Пушкина

1

Русская критика всегда твёрдо знала, что поэты не только услаждают, (но и учат. И в поэзии Пушкина помимо её формальных достоинств — необычайной художественности, правдивости, народности и пр. — критика никогда не забывала отмечать ещё иную ценность: её философский смысл. Было ясно, что в поэзии Пушкина выразилось его мировоззрение, что оно с помощью красоты глубоко внедряется в читателя и, следовательно, представляет могучую воспитательную силу. Естественно, что этот предмет занял видное место в критической литературе. Как же изображали до сих пор мировоззрение Пушкина?

Белинский писал: «Натура Пушкина (и в этом случае самое верное свидетельство есть его поэзия) была внутренняя, созерцательная, художническая. Пушкин не знал мук и блаженства, какие бывают следствием страстно-деятельного (а не только созерцательного) увлечения живою, могучею мыслью, в жертву которой приносится жизнь и талант. Он не принадлежал исключительно ни к какому учению, ни к какой доктрине; в сфере своего поэтического мирозерцания он, как художник по преимуществу, был гражданин вселенной, и в самой истории, так же как и в природе видел только мотивы для своих поэтических вдохновений, материалы для своих творческих концепций... Лирические произведения Пушкина в особенности подтверждают нашу мысль о его личности. Чувство, лежащее в их основании, всегда так тихо и кротко, несмотря на его глубину, и вместе с тем так человечно, гуманно!.. Он ничего не отрицает, ничего не проклиняет, на всё смотрит с любовью и благословением. Самая грусть его, несмотря на её глубину, как-то необыкновенно светла и прозрачна; она умиряет муки души и целит раны сердца.

Общий колорит поэзии Пушкина и в особенности лирической — внутренняя красота человека и лелеющая душу гуманность». Далее Белинский описывает чувство Пушкина, как неизменно «благородное, кроткое, нежное, благоуханное и грациозное», и заключает отсюда: «В этом отношении, читая его творения, можно превосходным образом воспитать в себе человека, и такое чтение особенно полезно для молодых людей обоего пола. Ни один из русских поэтов не может быть столько, как Пушкин, воспитателем юношества, образователем юного чувства».

Достоевский в своей знаменитой речи представил Пушкина отчасти бессознательным выразителем русского народного гения, поскольку он в своём творчестве проявил присущие русскому народу всемирную отзывчивость, способность к всечеловеческому единению и братской любви. Сознательную же его заслугу Достоевский видит в двойственной проповеди, обращённой к русскому обществу; именно, он-де первый, отрицательными типами Алеко и Онегина, указал на болезнь русского интеллигентного общества, оторванного от народа, и первый, положительными типами Татьяны, Пимена и других, взятыми из народного духа, указал обществу путь исцеления: обращение к народной правде. Правду эту, проповеданную Пушкиным, Достоевский выражает так: «Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудишься на родной ниве... Не вне тебя правда, а в тебе самом; найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой, и узришь правду. Не в вещах эта правда, не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоём собственном труде над собою. Победишь себя, усмиришь себя — станешь свободен, как никогда и не воображал себе, и начнёшь великое дело», и т. д.

Пыпин изображал Пушкина «поэтом-гуманистом»¹. «Пушкин, как художник, был носителем идеи о достоинстве человеческой личности, проникнут был стремлением к правде, глубоким гуманным чувством, убеждением в необходимости просвещения и в свободном действии человеческой мысли; наконец, он проникнут был горячей любовью к своему народу, к его славе и величю». Словом, «он стремился служить просвещению, добру и правде». И общественное значение его поэзии весьма велико: «как прелесть стихов, то есть художественная сторона его произведений, впервые приобщала массу общества к наслаждению чистой поэзией и уже тем оказывала великую услугу внутреннему

развитию общества, так и его высокие нравственные идеи, идеи чистой человечности, благотворно влияли на воспитание общества».

Вл. Соловьёв утверждает², что Пушкин, более всего дорожа в своём творчестве чистой поэзией, тем не менее признавал за собою и нравственное воздействие на общество, ибо «и чистая поэзия приносит истинную пользу, хотя не преднамеренно». Вл. Соловьёв вкладывает в уста Пушкина такие слова, обращённые к толпе: «То добро, которое вы цените, — оно есть и в моём поэтическом запасе», и под добром Соловьёв понимает здесь: пробуждение добрых чувств и проповедь милосердия к падшим.

Д. Н. Овсяннико-Куликовский³ признаёт Пушкина чистым художником («гений по преимуществу объективный») и не приписывает ему никакой активной проповеди, о мировоззрении же его говорит следующее: «Что касается *общего характера и настроения лирики Пушкина*, то в этом отношении нужно различать два периода: в первом, закончившемся во второй половине 20-х годов, лирика Пушкина характеризуется радостной отзывчивостью на все «впечатления бытия», светлым, оптимистическим воззрением на мир и человечество, гармонической уравновешенностью поэтических дум и чувств. Лишь изредка проскальзывали у него скорбные ноты грусти, уныния, разочарования, чтобы сейчас же умолкнуть и утонуть в яркой жизнерадостности его поэтического миросозерцания. Во втором периоде, начинающемся в половине 20-х годов, эти ноты появляются чаще и звучат громче... Великий поэт был утомлён жизнью, нашей русской дореформенной жизнью, и рвался «на волю», понимая под «волей» личную независимость, свободу от светских обязательств, от дрязг жизни, от всех удручающих впечатлений действительности. Он жаждал «покоя», внутреннего мира, — и в этом стремлении он доходил до резкого протеста против обязательств, какие предъявляют человеку общество, среда, «свет», публика, государство. Он переживал полосу резкого, раздражительного, капризно-обидчивого индивидуализма. Но несомненно, что это не было у него *принципом*, не входило в систему его убеждений, это было только *настроением*... Ссора поэта с толпой была лишь эпизодом в истории его разлада с действительностью, одним из выражений — и притом наименее удачных — той душевной отчуждённости от всего окружающего, которая овладевала гением Пушкина»...

Таковы наиболее авторитетные и влиятельные суждения о поэзии Пушкина за 70 лет. Как ни велики разногласия между ними, в одном они сходятся (и этот приговор есть общий приговор минувших поколений, он тысячеголосым эхом перекликается во всей литературе о Пушкине): вольно или невольно, Пушкин деятельно служил так называемому общественному прогрессу; несмотря на все уклонения, общий итог его творчества должен быть признан безусловно положительным в смысле соответствия основным задачам культуры, так как его поэзия своей формой и содержанием сеет в душах семена правды, любви, милосердия, чуткости к красоте и добру. *Одним словом, человечество строит на земле величественный храм разумного и любовного общежития, и Пушкин был и остаётся одним из полезнейших участников этой зиждательной работы.*

Было бы праздным делом разбирать и оспаривать доводы, на которые опирается эта оценка. Ежели мы, нынешнее поколение, видим другое в поэзии Пушкина, не лучше ли прямо высказать наше новое понимание? Та оценка была, без сомнения, вполне добросовестна; но наше право и наша обязанность — прочитать Пушкина собственными глазами и в свете нашего опыта определить смысл и ценность его поэзии.

2

Наши символисты не правы, когда утверждают, что искусство бывает двух родов: символическое, то есть открывающее тайны, — и только пленительное. Нет: всякое искусство открывает тайны, и всякое в своем совершенстве непременно пленительно.

Дело художника — выразить своё видение мира, и другой цели искусство не имеет; но таков таинственный закон искусства, что видение вовне выражается тем гармоничнее, чем оно само в себе своеобразнее и глубже. Здесь, в отличие от мира вещественного, внешняя прелесть есть безошибочный признак внутренней правды и силы. Пленительность искусства — та гладкая, блестящая, переливающая радугой ледяная кора, которою как бы остывает огненная лава художнической души, соприкасаясь с наружным воздухом, с явью. Или иначе: певучесть формы есть плотское проявление того самого гармонического ритма, который в духе образует видение. Но как бы ни описывать это яв-

ление, оно навсегда останется непостижимым. Ясно только одно: чем сильнее кипение, тем блестящее и радужнее форма.

Эта внешняя пленительность искусства необыкновенно важна: она играет в духовном мире ту же роль, какую в растительном царстве играет яркая окраска цветка, манящая насекомых, которым предназначено разносить цветочную пыль. Певучесть формы привлекает инстинктивное внимание людей; ещё не зная, какая ценность скрыта в художественном создании, люди безотчётно влекутся к нему и воспринимают его ради его внешних чар. Но вместе с тем блестящая ледяная кора скрывает от них глубину, делает её недоступной; в этом — мудрая хитрость природы. Красота — приманка, но красота — и преграда. Прекрасная форма искусства всех манит явным соблазном, чтобы весь народ сбегался глядеть; и поистине красота никого не обманет; но слабое внимание она поглощает целиком, для слабого взора она непрозрачна: он осуждён тешиться ею одной, — и разве это малая награда? Лишь взор напряжённый и острый проникает в неё и видит глубины, тем глубже, чем сам он острее. Природа оберегает малых детей своих, как щенят, благодетельной слепотою. Искусство даёт каждому вкушать по силам его, — одному всю свою истину, потому что он созрел, другому часть, а третьему показывает лишь блеск её, прелесть формы, для того, чтобы огнепалящая истина, войдя в неокрепшую душу, не обожгла её смертельно и не разрушила её молодых тканей.

Так и поэзия Пушкина таит в себе глубокие откровения, но толпа легко скользит по ней, радуясь её гладкости и блеску, упиваясь без мысли музыкой стихов, чёткостью и красочностью образов. Только теперь, чрез столько лет, мы начинаем видеть эти глубины подо льдом и учимся познавать мудрость Пушкина сквозь ослепительное сверкание его красоты.

В науке разум познаёт лишь отдельные ряды явлений, как разделены наши внешние органы чувств; но есть у человека и другое знание, целостное, потому что целостна самая личность его. И это высшее знание присуще всем без изъятия, во всех полное и в каждом иное; это целостное видение мира несознательно-реально в каждой душе и властно определяет её бытие в желаниях и оценках. Оно также — плоть опыта, и обладает всей уверенностью опытного знания. Между людьми нет ни одного, кто не носил бы в себе своего, беспримерного, неповторимого видения вселенной, как бы тайнописи вещей, которая, констатируя

сущее, из него же узаконяет долженствование. И не знаем, что оно есть в нас, не умеем видеть, как оно чудным узором выступает в наших разрозненных суждениях и поступках; лишь изредка и на мгновение озарит человека его личная истина, горящая в нём потаённо, и снова пропадёт в глубине. Только избранникам дано длительно созерцать своё видение, хотя бы не полностью, в обрывках целого; и это зрелище опьяняет их такой радостью, что они как бы в бреду спешат поведать о нём всему свету. Оно не изобразимо в понятиях; о нём можно рассказать только бессвязно, уподоблениями, образами. И Пушкин в образах передал нам своё знание; в образах оно тепло укрыто и приятно на вид; я же вынимаю его из образов, и знаю, что, вынесенное на дневной свет, оно покажется странным, а может быть, и невероятным.

3

Пушкин был европеец по воспитанию и привычкам, образованный и светский человек XIX века. И всюду, где он высказывал свои сознательные мнения, мы узнаём в них просвещённый, рационально-мыслящий ум. В идеях Пушкин — наш ровесник, плоть от плоти современной культуры. Но странно: творя, он точно преображается; в его знакомом, европейском лице проступают пыльные морщины Агасфера, из глаз смотрит тяжёлая мудрость тысячелетий, словно он пережил все века и вынес из них уверенное знание о тайнах. В своей поэзии он мёртв для современности. Что ему дневные страсти и страдания людей, волнения народов? Всё, что случается, случилось всегда и будет повторяться вечно; меняются радужные формы, но сущность остаётся та же; от века неизменны мир и человек. В несметно-разнообразных явлениях жизни всё вновь и вновь осуществляются немногие закономерности, с виду такие простые, — повторяются извечные были; и человек знает это, давно разгадал однообразие и безысходность своих судеб, и с незапамятных времён как бы сам себе неустанно твердит правду роковых определений. Эту древнюю правду носит в себе Пушкин; эти немногие повторные были он видит в событиях дня. Он беспримерно индивидуален в своём созерцании, и однако чрез его мышление течёт поток ветхозаветного опыта.

Пушкин — язычник и фаталист. Его известное признание, что он склоняется к атеизму, надо понимать не в том смысле, будто в такой-то момент своей жизни он сознательно отрёкся от веры

в Бога⁴. Нет, он таким родился; он просто древнее единобожия и всякой положительной религии, он как бы сверстник охотникам Месопотамии или пастухам Ирана. В его духе ещё только накоплен материал, из которого народы позднее, в долгом развитии, выкуют свои верования и культы. Этот материал, накопленный в нём, представляет собою несколько безотчётных и неоспоримых уверенностей, которые логически связаны между собою словно паутиными нитями и образуют своего рода систему.

Самый общий и основной догмат Пушкина, определяющий всё его разумение, есть уверенность, что бытие является в двух видах: как полнота, и как неполнота, ущербность. И он думал, вполне последовательно, что полнота, как внутренне-насыщенная, пребывает в невозмутимом покое, тогда как ущербное непрестанно ищет, рыщет. Ущербное вечно терзаемо голодом, и оттого всегда стремится и движется; оно одно в мире действует.

Эта основная мысль Пушкина представляла как бы канон, которому неизменно, помимо его воли, подчинялось его художественное созерцание. Всюду, где он изображал совершенство, он показывал его бесстрастным, пассивным, неподвижным. Таким изображён райский дух в стихотворении «Ангел»: он только есть, но абсолютно недвижим, даже не смотрит, потому что и взгляд — уже действие: он в дверях Эдема сияет поникшею главой⁵. Летает, смотрит и говорит, движимый внутренней тревогой, демон, олицетворение неполноты. Если бы спросить Пушкина, что же такое Бог? — он должен был бы ответить: Бог — на последней ступени, выше ангелов, потому что ангелам ещё присуще бытие, которое есть всё же наименьшая действительность; Бог — абсолютное небытие. Рисуя совершенную красоту, Пушкин неизменно скажет: «всё в ней гармония», и представит её в состоянии полного покоя: «Она покоится стыдливо в красе торжественной своей»⁶. Так же изобразит он и Марию в «Бахчисарайском фонтане»; он показывает её и нам, и Зареме спящую: она «покоилась», «казалось, ангел почивал», и пробуждённая Заремой, она почти не смотрит, не слышит, не говорит; она — ангельской природы. Но действует пылко, крадёт в ночи, и смотрит, и грозит — волнуемая страстью Зарема. В ней нет самобытной полноты, ей нужна для завершенности любовь Гирея. Бездействен Моцарт, исполненный небесных сил, и ничего не жаждет на земле, но действовал всю жизнь и пред нами действует, убивает Моцарта Сальери, которому дан неполный дар, более гнетущий, чем ниче-

го. Поэтому и Татьяна на высоте своей представлена в состоянии покоя. Каковы бы ни были мотивы, побудившие Пушкина выдать её замуж помимо её воли и вложить в её уста слова отречения, — несомненно, тайным фокусом всех его соображений был предносившийся ему зрительный образ Татьяны. Весь роман есть собственно история двух встреч Татьяны и Онегина — в саду и в гостиной. В молодости ущербная Татьяна вспыхнула страстью, и в страсти действовала; теперь она созрела до полноты и бездействия. В представлении Пушкина активность помрачила бы её идеальный облик; решилась она действовать, — оставить мужа, и пр. — она изменила бы своей природе. В полном расцвете своём Татьяна должна была явиться бездейственной (и Пушкин в конце поэмы интуитивно всё вновь и вновь подчёркивает её безмятежность, «покой») — как Онегин, напротив, должен был явиться алчущим и страстным, ибо только так вполне проявлена их противоположная сущность. И оттого же, наконец, по мысли Пушкина, «гений и злодейство — две вещи несовместные», потому что гений — полнота, то есть бездейственность, а злодейство как раз — бешенство действия, не знающее никаких границ, рождённое последним голодом.

Что же это? Значит в Пушкине ожил древний дуализм Востока, и опять он делит людей на детей Ормузда и детей Аримана⁷? Но ведь с тех пор человек увидел над двойственностью первоначального опыта небесный купол и постиг все сущее как единство в Боге; и ведь прозвучала же в мире весть о спасении, указавшая грешной душе в ней самой открытую дверь и лестницу для восхождения в совершенство. — Но Пушкин ничего этого не знает. Для него полнота и ущерб — два вечных начала, две необратимые категории. Он верит, что полнота — дар неба и не стяжается усилиями; ущербное бытие обречено неустанно алкать и действовать, но оно никогда не наполнится по воле своей.

4

Пушкин многократно, в разных видах, изображал встречу неполноты с совершенством. Самая мысль сводить их лицом к лицу показывает, что он знал между ними какие-то отношения. Я остановлюсь на трёх таких встречах. Эти три рассказа помогут нам яснее уразуметь его свидетельство. Именно, он утверждает, что полнота излучает некий свет, и что ущербное

восприимчиво к этим лучам. Отсюда ясно, во-первых, что полнота, по мысли Пушкина, не совершенно пассивна; она не действует только из своей индивидуальной воли, у нее такой воли вовсе нет, но самое её бытие есть проявление и действие высшей силы. Во-вторых, и неполное не безусловно замкнуто: оно не может не раскрываться, когда его касается сияние полноты, не может не принимать в себя её лучей. И вот Пушкин рисует три таких встречи. Первая — в стихотворении «Ангел»: Демон, глядя на Ангела, впервые познаёт жар умиления. Это — наилучшая встреча; обаяние совершенства взволновало Демона, но его волнение разрешается само в себе, не переходит в действие, и бездействием Демон на мгновение приобщён к ангельскому бытию. Умиление благочестиво и мудро, ибо оно утверждает полноту, как высшую себя, и не притязает смешаться с нею, что и невозможно. Вторая встреча — в последней песне «Онегина». В окончательной зрелости своей Татьяна и Онегин противостоят друг другу, как ангел и демон на земле, и Онегин, терзаемый своей неполнотой, гонимый ею по свету, — как Демон, летающий над адской бездной, — Онегин в созерцании Пушкина неизбежно уязвлён обаянием Татьяны. В нём загорается чувство, как в Демоне, но иное; он действует, — всюду ищет Татьяну, пишет ей, молит о любви; его чувство — не безгрешное умиление Демона: его чувство активно, то есть причастно несовершенству. Это худшая встреча. Любовь кощунственна и близорука: она мнит своё несовершенное бытие вполне однородным с полнотою и оттого посягает на слияние с нею, что невозможно; и действуя с целью осуществить свой кощунственный и безнадежный замысел, она тем самым и себя ещё более закрепощает неполноте, и вовлекает в движение, в действие, то есть в ущербность, предстоящее ему совершенство. Наконец, третья встреча, худшая из всех, — когда явление Моцарта возбуждает Сальери к максимальной активности, к злодейству. Зависть нечестива и уже совсем слепа; она полагает свою ущербность единственно законной формой бытия, а полноту считает неправой случайностью, оттого силится рассеять явление полноты. Но это — безумие: явление полноты — только проявление некоего Целого, Большого; можно устранить конкретное явление полноты, но не силу, родившую его и рождающую вечно. А своим безумным действием ущербное уже окончательно ввергает себя в неутолимую тревогу, в неисходную деятельность.

5

Итак, по мысли Пушкина, ущербный бессилён исцелиться произвольно. Всякое желание и действие проистекает из ущербной природы; поэтому взалкав совершенства и домогаясь его, ты этим новым желанием и действием только глубже погружаешь себя в ущербность. Знай же, что ты заключён в порочный круг, и не суживай его усилиями выступить за окружность. Напротив, смирайся пред совершенством, созерцай его бескорыстно; тогда, бездействием умиления, ты хоть мимолётно вступаешь в покой совершенства. Пушкин трогательно любил это чувство, лелеял его в себе и с любовью изображал в других. Самое слово «умиление» он повторял многократно. Он знал терзания совести, «змеи сердечной угрызенья», но его раскаянье всегда молитвенно и смиренно. Таковы строфы «Когда для смертного умолкнет шумный день»; таков его ответ Филарету, чистая песнь сокрушения и благоговенья пред святостью:

Я лил потоки слёз неожиданных
и язвам совести моей
твоих речей благоуханных
отраден чистый был елей.
<...>
Твоим огнём душа палима,
отвергла мрак земных сует,
и внемлет арфе серафима
в священном ужасе поэт⁸.

Этот священный ужас — то самое чувство, которое испытал демон, созерцая ангела. Умиление внушает Пушкину его Мадонна, «чистейшей прелести чистейший образец»; и всюду, где ему являлось, хотя бы в телесном образе, совершенство, — оно исторгало у него такое признание; он «благоговееет богомольно перед святыней красоты», его душа трепещет «пред мощной властью красоты». Даже его свирепый Гирей обезоружен святой невинностью Марии. Поэзия Пушкина исполнена умилением, каждый его взгляд на прекрасное и каждое слово о нём суть умиление. Как Пушкин мыслил совершенство и созерцал красоту — поистине, «ангел Рафаэля так созерцает божество»⁹.

А в основании этого светлого чувства лежала у него страшная уверенность, что ущербное бытие неизлечимо. Какая убийственная и какая опасная мысль! Она повергает грешного в от-

чаяние и парализует его волю. Зачем стремиться к святости, когда это стремление и тщетно, и греховно? Пушкин не только не верит в возможность нравственного совершенствования: он ещё осуждает и запрещает его. Двадцать столетий люди исповедуют противоположный догмат: грех исцелим; захоти, и исцелишься. Спор идёт на протяжении веков лишь о способах исцеления: делами ли спасается грешный, или верою. Но и под верою обычно понимали некое действенное состояние, пусть только духовное, именно стремление к совершенству, упорное алкание его. Пушкин всем своим умозрением проповедует обратное, квиетизм: оставайся в грехе, не прибавляй к своим желаниям нового и страстнейшего из желаний — желания избавиться от желаний, что и есть святость. Какое поразительное открытие! Не арабская ли кровь влила в артерии Пушкина это знание первобытных душ, живучее тёмное знание, которое, как бессмертный змей, влачится до нас через тысячи и тысячи поколений, то зарываясь в ил невидимо, то всплывая на поверхность сознания? Дикарь, Кальвин и Пушкин — что соединило их в тождественном понимании мира?

6

Но Пушкин ещё не досказал своих откровений. Словно отвечая на естественный вопрос: как возможны в несовершенном умиление, любовь и зависть, то есть как возможно вообще, что совершенство воздействует на ущербное, вызывает в нём движение, — Пушкин отвечает: иначе не может быть, ибо ущербное в самом себе имеет потенциальную полноту, — оно одноприродно с совершенством (и в этом смысле любовь отчасти права). Одна и та же сущность, там воплощённая, здесь замкнута как бы проклятием. Есть святыня, есть сила на дне мятущейся души. Так, в уединении ты познаёшь «часы неизъяснимых наслаждений».

Они дают нам знать сердечну глубь;
В могуществе и в немощах сердечных
они любить, лелеять научают
не смертные, таинственные чувства¹⁰.

Как клад, лежат они в душе «не смертные, таинственные чувства», и в лучшие твои минуты ты можешь созерцать его. Это

не полнота, а только предощущение её. Человеку не дано усилием воли оживлять в себе дремлющую силу, так, чтобы она наполнила его, но уже и знать её в себе есть счастье. По уверению Пушкина, она самовластна и не покорна сознанию; она подчинена каким-то особенным законам.

И вот Пушкин исследует самочинное бытие этой загадочной силы. Если вообще сознательная сторона душевной жизни наименее интересует его, а преимущественное и страстное внимание он направляет на бессознательную деятельность духа, то всего напряжённее, с ненасытной жадностью, он вникает в природу последней стихии, совсем закутанной в ночь.

По его мысли, ущербная личность не скудна, но стихийная воля в ней как бы связана. Здесь сила клокочет на дне; душа безнадежно алчет наполниться ею и мятётся в вечном голоде. Что связывает стихию? Пушкин определённо отвечает: разум. Ущербность представляется Пушкину болезнью, когда внутри личности образовалось как бы противотечение, которое оттесняет назад кипящий поток и держит его в безплотном плену. Но случается изредка, стихия вдруг, точно вулканическим взрывом, наполняет душу. Ничто так не волнует Пушкина, как зрелище этих потрясающих извержений, и строфы, где он повествует о них, — без сомнения, вершины его поэзии. Нигде больше он не воспарял вдохновением так высоко, и нигде не видел с такой орлиной зоркостью.

7

По созерцанию Пушкина формы бытия располагаются в виде лестницы, где на самом верху, как бытие блаженнейшее и объективно-высшее, стоит абсолютная, ненарушимая полнота: врождённое совершенство. Таким Пушкин символически мыслит ангела. На земле совершенство невозможно, но есть люди близкие к ангельскому лику; таковы у Пушкина херувим-Моцарт и большинство его женских образов, как Татьяна и Мария Потоцкая. Он никогда не пробовал определить совершенство; но по всему составу его показаний должно заключить, что оно представлялось ему таким состоянием, когда стихийная сила равномерно распределена в личности, как бы гармонически циркулирует в ней. Эта полнота есть равномерная внутренняя действенность, и она вовне бездейственна¹¹.

Ниже её стоит, по мысли Пушкина, полнота, дарованная чудом, рождающаяся в экстазе. Она ниже той, потому что менее гармонична и менее устойчива. Как ни мало действует тот, кто из неполного существования разбужен к полноте чудом, — он всё же действует. Человек в состоянии экстатической полноты проявляет, по мысли Пушкина, наименьшую возможную действенность, именно действенность изречённого слова. Эта полнота, как и всякая другая, нисходит на душу помимо индивидуальной воли и сознания.

Бедному рыцарю было видение, непостижное уму, и с той поры он «сгорел душою». Вся остальная его жизнь — бездейственное пылание; поразительно, как, сам того не сознавая, Пушкин упорно выставляет на вид праздность бедного рыцаря, его безучастие ко всем мирским делам.

И в пустынях Палестины,
между тем как по скалам
мчались в битву паладины,
именуя громко дам,
«Lumen coelum, sancta Rosa!»¹²
воскликнул он, дик и рьян,
и как гром его угроза
поражала мусульман.
Возвратясь в свой замок дальный,
жил он строго заключён,
Всё безмолвный, всё печальный,
как безумец умер он¹³.

Он не сражается; его единственное действие — слово, почти междометие, да и это последнее его действие скоро угасает со всем.

Мицкевич несомненно был прав, когда назвал «Пророка» Пушкина его автобиографическим признанием¹⁴. Недаром в «Пророке» рассказ ведётся от первого лица; Пушкин никогда не обманывал. Очевидно, в жизни Пушкина был такой опыт внезапного преобразования; да иначе откуда он мог узнать последовательный ход и подробности события, столь редкого, столь необычайного? В его рассказе нет ни одного случайного слова, но каждое строго-деловито, конкретно и точно, как в клиническом протоколе. Эти удивительные строки надо читать с суеверным вниманием, чтобы не упустить ни одного признака, потому что то же может случиться с каждым из нас, пусть частично,

и тогда важно проверить свой опыт по чужому. Показание Пушкина совершенно лично, и вместе вневременно и универсально; он как бы вырезал на медной доске запись о чуде, которое он сам пережил и которое свершается во все века, которое, например, в конце 1870-х годов превратило Льва Толстого из романиста в пророка.

Уже первое четверостишие ставит меня в тупик: нужно слишком много слов, чтобы раскрыть содержание, заключенное в 15 словах этой строфы. Пушкин свидетельствует, что моменту преобразования предшествует некое тайное томление, тоска, беспричинная тревога. Дух жаждет полноты, сам не зная какой, привычный быт утратил очарование, и жизнь кажется пустыней. И вдруг, — помимо личной воли, помимо сознания, непременно вслед за каким-нибудь житейским событием, может быть малым, но глубоко потрясающим напряжённые нервы («на перепутье»), — наступает чудо.

И вот, начинается преобразование: ущербное существо постепенно наполняется силой. Кто мог бы подумать, что ранее всего преобразуются органы чувств? Но Пушкин определённо свидетельствует: чудо началось с того, что я стал по-иному видеть, стал замечать то, что раньше было скрыто от моих взоров, хотя и всечасно пред ними. Затем безмерно стал чуток мой слух; я услышал невнятные мне дотоле вечно звучащие голоса вещей. Ещё прошёл срок, и я не узнал своей речи; точно против воли, я стал скрытен в слове, заговорил мудро и осторожно. Только теперь, когда непонятным образом обновлены уже и зрение, и слух, и слово, — только теперь человек ощущает в себе решимость признаться себе самому и исповедовать пред людьми, что он преображён (пылающий уголь вместо сердца). Но и сознав себя, он одну минуту испытывает смертельный ужас, ибо преобразованием он исторгнут из общежития и противопоставлен ему, как безумный: «Как труп, в пустыне я лежал». Но вот, нахлынул последний вал, — душа исполнилась до края; теперь он знает: это не личная воля его, это Высшая воля стремится широким потоком чрез его дух. Отныне он не будет действовать, ибо дух его полон; его единственным действием станет слово: «Глаголом жги сердца людей». В то время как деятели будут бороться со злом и проводить реформы, он будет, может быть, выкликать: «Lumen coelum, sancta Rosa!» и клич его будет утрашивать ущербных, грозя им Страшным судом.

Наконец, последняя форма экстатической полноты — вдохновение поэта. Это полнота перемежающаяся, наступающая внезапно и так же внезапно исчезающая. Человек, всецело погружённый в ущербное бытие, вдруг исполняется силой; жалкий грешник на краткое время становится пророком, и глаголом жжёт сердца людей. Эту двойственность Пушкин изобразил в стихотворении «Поэт». Чем вызывается преобразование? чей непостижимый призыв вдруг пробуждает спящую душу? — здесь всё тайна; Пушкин говорит метафорами: «Аполлон требует поэта», «до слуха коснулся божественный глагол». Но самую полноту он изображает отчётливо, и если собрать воедино черты, которыми Пушкин обрисовал вдохновение, то оно может быть определено, как гармонический бред.

8

Итак, до сих пор мы нашли у Пушкина два вида полноты: во-первых, полноту врождённую, — совершенство, во-вторых, более или менее полное, более или менее устойчивое наитие. Но дальше открывается, что кроме полноты гармонической, представленной этими двумя формами, Пушкину была введена ещё другая полнота — хаотическая, когда сила тоже всецело наполняет душу, но наполняет не стройно, а как бы бурными волнами или водоворотом, что вовне означает исступлённую действенность. Следовательно, в представлении Пушкина верхней бездне, небесной, соответствует нижняя бездна; ущербность в своей последней глубине полярно-противоположна совершенству. И вот что поразительно: Пушкин почти говорит: — «и равноценна ему по мощи и субъективной сладости». Он считает совершенство высшей формой бытия, какая вообще возможна, и умилённо благоговеет пред ним, но и о полноте хаотической он говорит восторженно, как о блаженнейшем состоянии твари. Он имеет смелость в XIX веке, в разгар гуманитарной цивилизации, почти приравнять исступление и совершенство, до такой степени их общий признак — душевная полнота, угашение разума, — перевешивает для него различие их частных определений. Счастье на миг приблизиться к ангельскому состоянию, но блаженство также, хотя и мучительное, стать на

мгновение Люцифером. Такова подлинная мысль Пушкина: только бы не быть «чадом праха».

Поистине, к большой выгоде дано человеку искусство. Пушкин в стихах исповедует крайне опасные убеждения, которых никогда не дерзнул бы высказать в прозе; кому же охота прослыть сумасшедшим или дикарём! Темно и страшно в глубинах духа; но поэзия хитра: она прикрывает сверху пучину радужной ледяной корой, которая радуется — и поглощает взоры; а под корой уже свободно и всенародно плавают глубоководные чудовища. Если бы робкие и незрелые увидели, какой вопль негодования поднялся бы! Но они не догадываются; и поэт хранит невинный вид, между тем как педагоги усердно тискают его стихи в хрестоматиях.

Простейшая и самая общая форма хаотической полноты — сумасшествие. Пушкин без обиняков заявляет: я был бы рад расстаться с разумом.

Как бы резво я пустился в тёмный лес!
Я пел бы в пламенном бреду,
я забывался бы в чаду
нестройных чудных грез.

И я б заслушивался волн,
и я глядел бы, счастья полн,
в пустые небеса;
И силен, волен был бы я,
как вихорь, роющий поля,
ломающий леса¹⁵.

Вот в чистом виде своём хаотическая полнота, ещё совсем не определившаяся, подобная неистовству элементарных сил. Даже и это состояние Пушкин рисует себе с завистью. Ещё выше стоит, по его мысли, тот экстаз, тоже бурный, который рождается в отпор внешней преграде, — экстаз бунта, также ещё общий человеку и низшей природе. Экстаз сумасшествия беззлобен, экстаз бунта свиреп; первый разрешается бесцельным движением, второй — устремлённым на преграду; но оба безудержно-действительны. Такой бунт изображён в стихотворении «Обвал». В этом элементарном явлении Пушкин узнал нечто родное и обаятельное для него — дикую красоту мятежа; вот почему его рассказ, с виду такой сухой, трепещет страстью, вот откуда это благоговейное личное обращение: «О Терек!»

Оттоль сорвался раз обвал,
и с тяжким грохотом упал,
и всю теснину между скал
загородил,
и Терека могущий вал
остановил.
Вдруг, истощась и присмирив,
о Терек, ты прервал свой рев;
Но задних волн упорный гнев
Прошиб снега...
Ты затопил, освирепев,
свои берега.

Так чума запрудила людям течение их привычных дел,
и дух, освирепев, прошиб страх смерти, взыграл восторгом: дух
затопил свои берега. Оттого-то

Есть упоение в бою,
и бездны мрачной на краю,
и в разъярённом океане,
среди грозных волн и бурной тьмы,
и в аравийском урагане,
и в дуновении Чумы.
Всё, всё, что гибелью грозит,
для сердца смертного таит
неизъяснимы наслажденья –
бессмертья, может быть, залог,
Пушкин прибавляет:
И счастлив тот, кто среди волненья
их обретать и ведать мог.

Это экстаз разрушительный, злой: берега залиты, обвал про-
бит, «И Терек злой под ним бежал»; и Вольсингам знает своё без-
законие. И тем не менее Пушкин называет его «неизъяснимым
наслаждением» и видит в нём залог бессмертия, потому что Пуш-
кин обожает в конце концов всякое освобождение «не смертных
чувств», всякий экстаз.

Кто, волны, вас остановил,
кто оковал ваш бег могучий,
кто в пруд безмолвный и дремучий
поток мятежный обратил?
Вы, ветры, бури, взройте воды,
разружьте гибельный оплот,
где ты, гроза, символ свободы?
Промчись поверх невольных вод!

Итак, вот верхняя бездна — рай совершенства, и нижняя — ад, где сгорает Вольсингам, «падший дух». Между безднами — все ступени безумия, и всем безумиям Пушкин говорит своё да, потому что всякое состояние полноты, будь то даже полнота бессмысленная или сатанинская, лучше ущербного, то есть разумного существования. Отсюда интерес Пушкина к Разину и Пугачёву; отсюда грустный тон в отброшенной строфе «Кавказа»:

Так буйную вольность законы теснят,
так дикое племя под властью тоскует, —

и оттого же он с таким презрением и отвращением произносит слово «покой»:

Но скучный мир, но хлад покоя
счастливец душу волновал...

...Мучением покоя
в морях казнённого...

Народы тишины хотят
и долго их ярем не треснет...

Паситесь, мирные народы,
вас не пробудит чести клич!¹⁶

Не как спасённый Вергилий, но как один из тех, кто среди адских мук, кляня и стеная, повествует Данту о своей плачевной судьбе, так Пушкин низводит нас в ад ущербного существования. Он сам наполовину жил в аду. Здесь стихийная воля пленена разумом и душа безнадежно жаждет наполниться. Оттого её жизнь — непрерывная смена желаний. Стихия не может подняться со дна, чтобы целостно разрешиться в душе свободным и могучим движением. Лишь без усталости, без конца выбивают вверх частичные извержения лавы — наши желания и страсти. Пушкин многократно свидетельствует: желание, страсть — в сущности беспредметны, не направлены ни на что внешнее; действительно, ведь желание — не что иное, как позыв, обращённый внутрь самой души, именно — мечта о том, чтобы замкнутая сила наполнила меня. Но здесь ущербную душу подстерегает соблазн: так как ей не дано воззвать в себе полноту своей волею, то она устремляется на внешнее, как огонь на хворост, чтобы разгореться. Так из общего голода рождается конкретное желание или конкретная страсть. Так Пушкин рисует состояние Татьяны накануне любви:

Давно сердечное томленье
теснило ей младую грудь;
Душа ждала... кого-нибудь,
и дождалась. Открылись очи:
она сказала: это он!

И гениальные строки в письме Татьяны говорят о том, как общий голод души субъективно преобразуется в конкретную страсть:

Ты в сновиденьях мне являлся:
незримый, ты мне был уж мил,
твой чудный взгляд меня томил,
в душе твой голос раздавался
Давно...

Оттого каждая страсть сулит нам не частичное только, но полное утоление духа. Дон Жуан справедливо говорит Донне Анне:

С тех пор,
как вас увидел я, всё изменилось.
Мне кажется, я весь переродился.

Так смотрит и каждый человек на предмет своего желания: здесь-то я наконец утолю свой голод.

Но утолить душевный голод может только разыгравшая сила, она поднимается не иначе как самовластно, по присутствующим ей законам; страсть же сжигает свой предмет и с ним гаснет сама, то есть сменяется тотчас новым желанием, новой страстью, и обманутый голод разгорается сильнее. Вся жизнь — чередование пламенных вспышек, сулящих блаженство, и мучительных угасаний. Совершенству, разумеется, чужды страсти; о Марии Пушкин говорит: «Невинной деве непонятен язык мучительных страстей», и о гармонической красоте — что в ней «всё выше мира и страстей». А Зарема «для страсти рождена», в её сердце — «порывы пламенных желаний». Таков же Алеко; и нет спасения от страстей, потому что ущербный дух не может не алкать.

Боже, как играли страсти
его послушною душой!
С каким волнением кипели
в его измученной груди!
Давно ль, надолго ль усмирили?
Оне проснутся: погоди.

Непонятно, как могли усмотреть в «Цыганах» моральную идею. Пушкин хотел представить в Алеко ущербную душу, которая не может не рождать из себя страстей, в какие бы условия её ни поставить; он хотел также показать, что ущербность и сопряжённые с нею страсти присущи не только питомцу культуры, но человеку вообще, хотя в детях степей они несравненно более гармоничны. Алеко и цыгане — только две разновидности неполноты, и это общее в них для Пушкина важнее явного различия между ними. Объединяющий их замысел поэмы полностью и ясно выражен в её последних строках — странно, что их не замечают:

Но счастья нет и между вами,
природы бедные сыны!
И под издранными шатрами
живут мучительные сны;
И ваши сени кочевые
в пустынях не спаслись от бед,
и всюду страсти роковые,
и от судеб защиты нет.

<...>

10

Поэтому Пушкин мыслит о страсти двойственно. Он не может не любить её, потому что страсть — всё же полнота души, хотя и переходящая. Его лестница священных безумий не кончается на пороге ущербности: страсть — мгновенная вспышка безумия в самой ущербности. Страсть наполняет душу чудными грёзами; Пушкин много раз называет мир пустыней («Не даром тёмною стезей я проходил пустыню мира?», «Доселе в жизненной пустыне», «Что делать ей в пустыне мира»¹⁷ и т. д.): страсть преобразует пустыню в райский сад. По мысли Пушкина, вещи бесцветны, — их окрашивает только воспринимающий дух, смотря по его полноте. Со своей обычной точностью выражений Пушкин говорит: «Страданья... плоды сердечной пустоты», «Минуты хладной скуки, Сердечной пустоты»¹⁸, — и много лет спустя добавляет обратное: «тайный жар, мечты... плоды сердечной полноты»¹⁹. Рисуя бесстрастное время своей жизни, он говорит:

Тянулись тихо дни мои
без божества, без вдохновенья,
без слёз, без жизни, без любви;

но вспыхнула страсть —

И сердце бьётся в упоенье,
и для него воскресли вновь
и божество, и вдохновенье,
и жизнь, и слёзы, и любовь.

Страсть по Пушкину — всплеск стихийной силы, её сладость и мощь — в её беззаконии. Она вспыхивает и гаснет по своему произволу; Пушкин говорит безлично: «Душе настало пробужденье». Здесь воля бессильна, а разум сам поражён неожиданностью душевного взрыва; напротив, пробуждённая стихия властно покоряет себе всю личность, заставляет её служить себе. Он говорит:

Душа лишь только разгоралась

(а разгорается она своевольно), —

И сердцу женщина являлась
каким-то чистым божеством²⁰.

Что же сам человек, с его умом и волею, с его целесообразным стремлением? — Он только орудие сверхличной стихии, которая, пробудившись, владеет им. И так же произвольно страсть угасает, и опять её угасание определяет волю и разум, а не наоборот. Может ли быть большее рабство, большее унижение гордого разума? Личность — ничто, перо, носимое бурей; ей безусловно законодательствует стихия. Но Пушкин не видит здесь обиды. Он точно удивился, когда впервые сознал свою подданность непонятному закону, как раньше никогда не признавал; но в нём нет ропота: он только с недоумением констатирует в себе действие этого закона. Женщина, которую он любил когда-то, умерла; казалось бы, весть о её смерти должна была глубоко взволновать его, но нет:

Напрасно чувство возбуждал я:
из равнодушных уст я слышал смерти весть,
и равнодушно ей внимал я.
Так вот кого любил я пламенной душой
с таким тяжёлым напряженьем,
с такою нежною, томительной тоской,
с таким безумством и мученьем!
Где муки, где любовь? Увы, в душе моей
для бедной, легковерной тени,
для сладкой памяти невозвратимых дней
не нахожу ни слёз, ни пени²¹.

Нет, он не оскорблён владычеством стихии над личностью; напротив, он примет ее власть со страстной благодарностью и благоговением. В бессмертных стихах он поет гимн беззаконной стихии, славя ее всюду, где бы она ни проявлялась, — в нео-душевленной природе, в звере или в человеческом духе:

Зачем крутится ветер в овраге,
подъемлет лист и пыль несёт,
когда корабль в недвижной влаге
его дыханья жадно ждёт?
Зачем от гор и мимо башен
Летит орёл, тяжёл и страшен,
на чёрный пень? — Спроси его.
Зачем арапа своего
младая любит Дездемона,
как месяц любит ночи мглу?
Затем, что ветру и орлу
и сердцу девы нет закона.
Гордись! таков и ты, поэт:
и для тебя закона нет²².

Этим «гордись» Пушкин подрывает все основы нравственности и общежития. Гордись не моральным поступком, не успехами разумного строительства; как раз наоборот — пусть толпа подчиняется законам разума, — гордиться вправе перед нею тот, кто ощущает в себе беззаконность стихийной воли. К морю Пушкин обращает привет: «Прощай, свободная стихия!» Море чарует его больше всего «грозной прихотью своей», «своенравными порывами».

Смиранный парус рыбаей,
твоею прихотью хранимый,
скользит отважно среди зыбей:
но ты взыграл, неодолимый,
и стая тонет кораблей.

И в человеке — лучшее, когда он «волей своенравной» подобен морю, да и своенравная воля и прихоть волн, по мысли Пушкина, — одна и та же стихия. Он говорит о Байроне, обращаясь к морю:

Твой образ был на нём означен,
он духом создан был твоим:
как ты, могущ, глубок и мрачен,
как ты, ничем неукротим.

11

Итак, Пушкин не устаёт славословить «упоенье», «пламень упоенья», «упоение страстей». И в то же время он оплакивает страсти, потому что они изнуряют дух. Он называет их не раз: «мучительные сны», он говорит: «страх живёт в душе, страстьми томимой»²³. Каждая страсть в разгаре своём — минутный экстаз: да будет она благословенна! Но как ужасны последствия страстей! Страсть, сгорая, оставляет горькое чувство, и от многих страстей накапливается многая горечь.

Кто чувствовал, того тревожит
призрак невозвратимых дней, —
тому уж нет очарований,
того змия воспоминаний,
того раскаянье грызёт²⁴.

Надо прислушаться к словам Пушкина: «Страстями сердце погубя», «Где бурной жизнью погубил надежду, радость и желанье», «Без упоенья, без желаний я вяну жертвою страстей», «Душевной бури след ужасный»²⁵. Вот кара: сердце, утомлённое страстями, гаснет, холодеет; исчезает очарованье, нет желаний, и жизнь подобна смерти. Эту мысль Пушкин высказывает несчётное множество раз: «Уснув бесчувственной душой», «увядшее сердце», «души печальный хлад», «хладный мир души бесчувственной и праздно́й», «сердца тяжкий сон»²⁶. Что же? Значит, надо проклясть эти мгновенные вспышки, оставляющие такой печальный след? Нет, Пушкин не проклянёт страсти. Как бы пагубна она ни была, всё же она лучше прозябанья. Только одно ненавидел Пушкин на земле, одно презирал в человеке: неспособность к страсти. Как душевная полнота есть высшее состояние личности, так бесстрастие — низшее, последняя нищета души. Один этот признак Пушкин и вкладывал в понятие толпы. Нелепо говорить о его аристократизме: чернь для него — те, кто живёт бесстрастно, даже не тоскуя по душевной полноте; слово «хладная» у него — постоянный эпитет к слову «толпа» и встречается десятки раз во всевозможных сочетаниях: «хладная толпа», «хладный свет», «посредственности хладной» и т. п. У него чернь точно определяет себя: «Мы сердцем хладные скопцы». Холод чувств, мерзость тепловатых желаний и производимой ими мелкой суеты, точно ряби на плесневеющем пруде, — вот что он не-

навидит всей душою. Здесь не может зародиться ни одна высокая мечта, ни один подвиг; здесь царит, по слову Пушкина, разврат, как гниль в пруду. Пушкин говорит черни: «В разврате каменейте смело», ибо в холоде сердце каменеет. Он много раз говорит: надо бежать от толпы, от суеты, надо жить «в строгом уединении, вдали охлаждающего света»²⁷, он боится

Ожесточиться, очерстветь
и наконец окаменеть
в мертвящем упоенье света,

Он говорит о Ленском:

От хладного разврата света
ещё увянуть не успев.

И самое страшное то, что сердце, перегоревшее в страстях, впадает именно в бесчувственность, становится бесстрастным и холодным, как сердце любого из толпы. Ущербному нет спасенья; пережив ли ряд страстей или не зная их вовсе, — итог один: рано или поздно душу обнимает «печальный хлад». Молодость — пора страстей, хотя не для всех: большинство рождаются холодными; но зрелый возраст сравнивает тех и других. Так думал Пушкин. Старость он неизменно определяет как «охлажденные лета»; он не задумываясь пишет: «Под хладом старости»²⁸.

Всё предопределено, и человек ни в чём не виновен. Холодный не может загореться восторгом, страстный не может не пылать, но не властен и продлить своё горенье. Всё печально и ничтожно на земле, кроме душевной полноты, — но она не в нашей воле; мы — как рабы, которым неведомый хозяин бросает подачки — минуты упоенья. Подчас сердце Пушкина наполняется упоеньем горечи, и он вопрошает:

Кто меня враждебной властью
из ничтожества воззвал?²⁹

12

Разуменье Пушкина совершенно духовно, то есть имеет своим предметом исключительно жизнь духа, так как в духе он видит не только единственное творческое начало и всеобщего двигателя, но и единственную реальность мироздания, веществу же

приписывает лишь призрачное бытие, которое создаётся и определяется каждый раз данным состоянием духа.

Нет двух миров, но одна и та же стихия царит в природе и в духе. Диким воображением своим Пушкин как будто видит самый лик стихии, и однажды ему напомнил её Пётр:

Лик его ужасен,
движенья быстры, он прекрасен,
он весь как Божия гроза.

Человек бессилён повелевать своему духу, то есть стихии, действующей в нём. Наше сознание только извещает нас о наступающем приливе или отливе стихийной силы, но не может их вызывать или даже в самой малой мере воздействовать на них. Поэтому Пушкин должен был безусловно отрицать рациональную закономерность духовной жизни, то есть эволюцию, прогресс, нравственное совершенствование. Там, где полновластно царит своеволие стихии, не может быть никаких законов. Тем самым снимается с человека всякая нравственная ответственность.

Отсюда ясно, что Пушкин весьма слабо отличает моральное добро от зла. Он почти равно любит их, когда они рождены в грозе и пламени, и почти равно презирает, когда они прохладны, то есть оценивает их больше по их температуре, нежели по качественному различию. Совершенство по Пушкину — не моральная категория: совершенство есть раскалённость духа, но равномерная и устойчивая, так сказать — гармоническое пыланье («Твоим огнём душа палима...»³⁰). Когда будет составлен словарь Пушкина, то несомненно окажется, что никакие определительные речения не встречаются у него чаще, нежели слова *пламя* и *хлад* с их производными, или их синонимы, в применении к нравственным понятиям. В его обожании огня и отвращении к холоду сказывается то древнее знание человека, которое некогда привело народы к солнце- и огнепоклонству, к культу Агни³¹, по-русски огня. Самую обитель Бога, небесные селенья, он определяет как пламя («Где чистый пламень пожирает несовершенство бытия»³²).

Отсюда понятна также его затаённая вражда к культуре. Ему, как и нам, мир предстоит расколотым на царство стихии и царство разума. В недрах природного бытия, где всё — безмерность, беззаконие и буйство, родилась и окрепла некая законодательная сила, водворяющая в стихии меру и строй. Но в то время

как люди давно и бесповоротно признали деятельность разума за должное и благо, так что уверенность эта сделалась как бы исходной аксиомой нашего мышления, — Пушкин исповедует обратное положение. Как и мы, он хочет видеть человека сильным, прекрасным и счастливым, но в такое состояние возносит человека, по его мысли, только разнузданность стихии в духе; и потому он ненавидит рассудок, который как раз налагает на стихию оковы закона. Слово «свобода» у Пушкина должно быть понимаемо не иначе, как в смысле волевой анархии.

Пушкин различает два вида сознания: ущербный, дискурсивный разум, который, ползая во прахе, осторожно расчленяет, и мерит, и определяет законы, — и разум полноты, то есть непосредственное интуитивное постижение. Ущербный разум — лишь тусклая лампада пред этим чудесным узрением, пред «солнцем бессмертным ума». Что Пушкин называет «умом», в отличие от рассудка, — тождественно для него с вдохновеньем: «Вдохновенье есть расположение души к *живейшему* принятию впечатлений и соображению понятий, следственно и объяснению оных. Вдохновенье нужно в геометрии, как и в поэзии». («О вдохновении и восторге»³³, 1824 г.) Здесь весь смысл — в слове «живейшему»; *на нём* ударение. Если бы критики, читая «Вакхическую песнь» Пушкина, сумели расслышать главное в ней, — её экстатический тон, — они не стали бы объяснять слова: «да здравствует разум!» как прославление *научного* разума. Это стихотворение — гимн *вдохновенному* разуму, уму-солнцу, которому ясно противопоставляется «ложная мудрость» холодного, расчётливого ума³⁴.

Разум порождён остылостью духа (думы, по его определению, суть «плоды подавленных страстей»³⁵). Там, в низинах бытия, где прозябают холодные, разум окреп и вычислил свои мерила, и там пусть царствует, — там его законное место. Но едва вспыхнуло пламя, — личность тем самым изъята из-под власти разума; да не дерзнёт же он святотатственно стеснять бушевание страсти. Вот почему Пушкин, страшно сказать, ненавидит просвещение и науку. Для Пушкина просвещение — смертельный яд, потому что оно дисциплинирует стихию в человеческом духе, ставя её с помощью законов под контроль разума, тогда как в его глазах именно свобода этой стихии, ничем не стеснённая, есть высшее благо. Вот почему он просвещение, то есть внутреннее укрощение стихии, приравнивает к внешнему обузданию её,

к деспотизму. Эти два врага, говорит он, всюду подстерегают божественную силу:

Судьба людей повсюду та же:
где капля блага, там на страже
иль просвещение, иль тиран;³⁶

В «Цыганах» читаем:

Презрев оковы просвещения,
Алеко волен как они;

и в уста Алеко он влагает такой завет сыну:

Расти на воле, без уроков...
пускай цыгана бедный внук
лишен и неги просвещения
и пышной суеты наук —³⁷

Сколько усилий было потрачено, чтобы забелить это чёрное варварство Пушкина! Печатали: «там на страже — Непросвещение иль тиран», или: «Коварство, злоба и тиран», «Иль самовластье, иль тиран», и в песне Алеко: «Не знает нег и пресыщения». Но теперь мы знаем, что Пушкин написал именно так.

Жизнь, учит Пушкин, — всегда неволя, но в огне неволя блаженная, в холоде горькая, рабство скупому закону. И кроме этой жизни нет ничего; рай и ад здесь, на земле. История, поступательный ход вещей? — нет, их выдумали люди. Но есть три состояния стихии в человеческом духе: ущербные желанья, экстазы и безмятежность полноты; есть действенность мелкая и презренная, есть героическая действенность, которая прекрасна и мучительна, и есть покой, глубокий, полный силы, чуждый всякого движенья вовне. Кто осенён благодатной полнотой, тот вовсе не действует, и в этом смысле не живёт; лишь тайный свет, безвольно излучаемый им, тревожит бодрствующих, ущербных.

13

Так учил Пушкин. Но он был поэт, а не философ. Мудрость, которую я выявляю здесь в его поэзии, конечно не создавалась им, как система идей; но она была в нём, и наше законное право — формулировать его умозрение, подобно тому как можно на-

чертатъ на бумаге план готового здания. Эти линии плана вполне реальны, ими определяется расположение частей, хотя в самом здании их не видно, — они заложены в камень и орнамент.

Есть разные виды самосознания. Человек, обладающий зрительной памятью, обычно не сознаёт своей природы, и всё же он принадлежит к зрительному типу, что ясно для наблюдателя. Консерватор или революционер основывают свои убеждения, разумеется, на конкретных доводах философского, морального или практического порядка, но исследователь вскрыет и в том, и в другом, как основной узор личности, врождённые склонности и несознанные усмотрения, которыми определяется характер их идей.

Эту сердцевину духа, этот строй коренных усмотрений я пытаюсь обнаружить в Пушкине; слежу линии его скрытого плана и черчу их на плоскости. Оттого так чётко в моём чертеже то, что в самой поэзии Пушкина окутано художественной плотью. Я формулирую имманентную философию Пушкина, и моё изложение так же относится к его поэзии, как географическая карта — к самой стране, как линейный план — к зданию, как механическая формула — к самой машине.

Древнее знание живо в каждом из нас, оно сгустилось и затвердело на дне наших слов. Но мы не сознаём его, а Пушкин сознал в своём личном опыте. И это преимущество он купил дорогой ценой.

14

Пушкину не было дано ни ангельской полноты, ни той, противоположной, которую он знал в Петре, Наполеоне и Байроне. Судьба повела его как раз труднейшей дорогой — через страсти в душевный холод. Как Онегин,

Он в первой юности своей
был жертва бурных заблуждений
и необузданных страстей,

и как в Онегине, «рано чувства в нём остыли». Начиная с 1819 года он беспрестанно жалуется на возрастающую бесчувственность, последствие бурных страстей. Он «пережил свои желанья, разлюбил свои мечты», он живёт «без упоительных страстей»; он жалуется: «тягостная лень душою ов-

ладела», «остыла в сердце кровь», «душа час от часу немеет, в ней чувств уж нет», «в сердце, бурями смиренном, теперь и лень, и тишина»; он говорит:

С этих пор
во мне уж сердце охладело,
закрылось для любви оно,
И всё в нём пусто и темно;³⁸

он сравнивает себя с Онегиным:

Я был озлоблен, он угрюм;
Страстей игру мы знали оба;
Томила жизнь обоих нас;
В обоих сердца жар погас.

Но он с юности знал тоску по совершенству. Ещё в разгаре страстей его томило «смутное влечение чего-то жаждущей души»³⁹, — а эта тоска никогда не остаётся неутолённой. И оттого случилось, что на пороге зрелых лет предстал ему «ангел нежный» в виде женщины, —

И скрылся образ незабвенный
в его сердечной глубине⁴⁰.

Мы не знаем, кто она была; во всяком случае, это была живая женщина, и Пушкин любил её как женщину, не отвечавшую ему любовью. Но он знал также, что это воплотилась перед ним его жгучая тоска по полноте, по самозабвению, как порою зной и жажда в пустыне рисуют путнику цветущий оазис-мираж. Он всегда говорил о ней двойственно: то как о живой женщине, то как о райском видении, сне. Он её «узнал иль видел как во сне»; её образ в нём — «сон воображенья», «души неясный идеал»⁴¹. Он говорит о ней:

Бывало, милые предметы
мне снились, и душа моя
их образ тайный сохранила;
Их муза после оживила⁴².

И весь жар сердца, ещё горевший в нём, на долгие годы сосредоточился в этом образе. То был его собственный лучший лик, мечтаемое им совершенство. О ней он вспоминал в «Разговоре книгопродавца с поэтом»:

Душа моя
хранит ли образ незабвенный?

Ей говорит в Посвящении к «Полтаве»:

Твоя далёкая пустыня,
последний звук твоих речей —
одно сокровище, святыня,
одна любовь души моей.

Он долго лелеял память о том часе, когда её образ впервые просиял перед ним — или в его душе. Эту внутреннюю встречу он изобразил в «Ангеле», и в черновиках того Посвящения есть строка: «Верь, *ангел*, что во дни разлуки...», и в другом месте он говорит о ней же:

Земных восторгов излишня,
как божеству, не нужны ей.

Об этой же встрече он рассказал и в «Бахчисарайском фонтане». Гирей не забудет Марии; после её смерти

Он снова в бурях боевых
несётся мрачный, кровожадный,
но в сердце хана чувств иных
таится пламень безотрадный.
Он часто в сечах роковых
подъемлет саблю и с размаха
недвижим остаётся вдруг,
глядит с безумием вокруг,
бледнеет, будто полный страха,
и что-то шепчет, и порой
горючи слезы льёт рекой;

И смысл всей поэмы выражен ясно в одной строфе:

Так сердце, жертва заблуждений,
среди порочных упоений
хранит один святой залог,
одно божественное чувство⁴³.

Он пел о себе, о своем умилении. И этот же образ ущербного человека, носящего в себе «святой залог», он много лет спустя нарисовал еще раз, но уже взнесенным высоко над землей, отрешенным от всего дольного, — в лице «Бедного рыцаря». Он сам хотел бы взлететь туда — если бы ему крылья!

Далёкий, возделенный брег!
Туда б, сказав прости ущелью,
подняться к вольной вышине;
Туда б, в заоблачную келью,
в соседство Бога скрыться мне!⁴⁴

«Жар умиленья»⁴⁵, «чистое упоенье любви» не спасли Пушкина. С годами его бесчувствие все усиливалось. В 1826 году он пережил тот миг преобразования, который запечатлен в «Пророке». Мицкевич говорит о «Пророке»: это было начало новой эры в жизни Пушкина, но у него не достало силы осуществить это предчувствие⁴⁶. Если бы мысль Мицкевича стала известна Пушкину, он без сомненья подтвердил бы её, но виновным не признал бы себя: он твёрдо знал, что царство Божие не стяжается усилиями. Можно думать, что, потрясённый своей неудачей, сознав свою обречённость, он с тех пор стал ещё быстрее клониться к упадку. К 1827–28 годам относятся самые безотрадные его строки. В 7-й песне «Онегина», дивясь тяжелому чувству, которое пробуждает в нем весна, он спрашивает себя:

Или мне чуждо наслажденье,
и всё, что радует, живит,
всё, что ликует и блестит,
наводит скуку и томленье
на душу, мёртвую давно,
и всё ей кажется темно?

Какое горькое признание! Теперь бывают минуты, когда он — почти как один из толпы, живой мертвец. Разве не о духовной смерти говорят эти строки:

Цели нет передо мною,
сердце пусто, празден ум,
и томит меня тоскою
однозвучный жизни шум⁴⁷.

Так ли он принимал жизнь в пору юности своей, так ли отвечал на вызовы судьбы? Теперь, в 1828 году, — какая надломленность в нём!

Бурной жизнью утомлённый,
равнодушно бури жду:
может быть ещё спасённый
снова пристань я найду⁴⁸.

Позднее это чувство просветляется в Пушкине. Он решил: больше нечего ждать, надо помириться на том малом, что даро-

вано. Этим смирением внушена Пушкину трогательная элегия «Безумных лет угасшее веселье». Минутами он пытается разувверить себя и воспрянуть, но как сильно он понизил свои требования!

О нет, мне жизнь не надоела,
я жить люблю, я жить хочу!
Душа не вовсе охладела,
утрата молодость свою.
Ещё хранятся наслажденья
для любопытства моего,
для милых снов воображенья...

Нельзя без волненья читать эти строки, — да Пушкин и не смог дописать их, точно муза, плача, отвернула своё лицо. Было естественно, что Пушкин именно в 1830 году решил жениться. Его женитьба была только обнаружением того созревшего состояния души, которое выражалось в его суждениях о своём поступке: «Нет иного счастья, как на обычных путях, к тому же я женюсь без упоенья»⁴⁹. Правда, ему оставалось ещё, на наш взгляд, немало: ему оставался ещё «пламенный восторг» вдохновенья, и вдохновеньем он дорожил, как последним кладом, взывал к нему:

Волнуй моё воображенье,
дремоту сердца оживляй,
в мой угол чаще прилетай,
не дай остыть душе поэта⁵⁰.

И к стиху: «Судьбою вверенный мне дар» у него была готовая рифма: «Во мне питая сердца жар»⁵¹. Но могло ли и вдохновение жарко пылать в остывающей душе? Оно само ведь питалось её общим пламенем. Угас и тот светлый образ, хранивший последнее тепло чувства. Пушкин стынет, стынет, и на душе его всё мрачнее. Под пеплом ещё таилась в нём жгучая мечта — не о совершенстве: Бог с ним! но о какой бы то ни было полноте, о внезапном порыве, который наполнил бы душу и унес бы её. Одиннадцать лет, с 1824 по 1835 г., Пушкин тайно лелеял преступный замысел «Египетских ночей», как сладчайшую свою мечту. С какой радостью он сам кинулся бы к урне роковой, где лежали жребии смертоносного блаженства! Он начал «Египетские ночи» в то время, когда впервые со страхом сознал в себе неудержимое угасание чувства. Напомню ещё раз изумительный набросок 1823 года:

Кто, волны, вас остановил,
кто оковал ваш бег могучий,
кто в пруд безмолвный и дремучий,
поток мятежный обратил?

В рукописи здесь сбоку написано ещё несколько неотделанных и неразборчивых строк, которые можно читать приблизительно так:

Чей жезл волшебный усыпил
во мне надежду, скорбь и радость
и душу бурную прежде
одной дремотой осенил⁵².

Очевидно, уже за этими стихами должна была следовать та заключительная строфа:

Вы, ветры, бури, взойте воды,
разрушьте гибельный оплот,
где ты, гроза, символ свободы?
Промчись поверх невольных вод.

Это он о себе говорил, на себя призывал испепеляющую страсть. Отсюда тогдашний замысел «Египетских ночей». В 1835 году то безумное ожидание снова вспыхнуло в нём, может быть, с удесятёрённой силой, и он вернулся к «Египетским ночам», которые горят той же тоской, как вопль Тютчева:

О небо, если бы хоть раз
сей пламень развился по воле,
и не томясь, не мучась доле,
я просиял бы — и погас!⁵³

Но жизнь была уже безвозвратно проиграна. Горькое отречение 1828 года с годами сменилось спокойным равнодушием; пред чем он тогда ещё содрогался, то теперь принял как обычное, нормальное. Ещё в 1831 году он заставил Онегина сказать:

Я думал: вольность и покой —
замена счастью. Боже мой!
Как я ошибся, как наказан!

А в 1836 он эти самые две ценности — очень хорошие ценности, но не высокого разбора — оценивал уже положительно: «На свете счастья нет, а есть покой и воля». Куда девалась тоска, «роптанье вечное души»⁵⁴? Когда-то он знал, что есть настоящее счастье: экстаз; теперь он, как умирающий, жаждет по-

коя: «Покою сердце просит». Он действительно был полумертв, и живя среди полумертвых, не мог не заразиться их гниением. Когда цветок в горшке ослабел, на него нападает тля; так светская сплетня сгубила Пушкина, чего никогда не случилось бы, если бы в нём не остыл жар сердца. Но его кровавый закат был прекрасен. В последний час его врождённая страстность вспыхнула великолепным бешенством, которое ещё теперь потрясает нас в истории его дуэли.

15

Как странники, заброшенные в безвестный край, мы бродим в дебрях чувств, ощупью подвигаясь в небольшом кругу, и если кто-нибудь из нас при свете внезапно вспыхнувшего сердца проглянет вдаль, как дивится он необъятности и грозной красоте духа! Это его личный дух и вместе наш общий; пусть он расскажет нам своё новое знание, потому что оно нужно нам, как хлеб. Ведь всё, что терпит и создаёт человек, его радость и горе, его подвиги и победы, всё — только деятельность духа; что же может быть важнее для нас, нежели знание о духовной силе? Когда же приходит один из тех, в ком дух горит долго и сильно, сам освещая себя, нам надо столпиться вокруг него и жадно слушать, что он видел в незнакомой стране, где мы живём. Как странно и невероятно! Мы, сидя на месте, думаем, что наш дух необширен и ровен, а он повествует о высотах и райских куцах, о пропастях и пустынях духа. Но будем слушать, потому что он действительно был там, сам падал в бездны и всходил на вершины. За это порукою убеждённость и отчётливость его рассказа, даже звук его голоса. Так может повествовать только очевидец. И воздадим ему высшую почесть, потому что он купил это знание дорогой ценой.

Таков и Пушкин, в числе других. Какое же особенное и ценное знание он сообщил нам? Какой новый опыт, раньше неведомый, он вынес из своих трудных духовных странствий? Я говорю: в его поэзии заключено одно из важнейших открытий, какими мы обязаны поэтам; именно, он в пламенном духе своём узнал о духовной стихии, что она — огненной природы. Это одно он увидал и об этом неустанно рассказывал, как человек, опьянённый счастливой находкой, или как больной о болезни своей. Он действительно был и пьян, и болен, пьян изначальной пламенно-

стью своего духа, и болен сознанием его постепенного угасания. Отсюда необычайная страстность и искренность его рассказа, но отсюда же и неполнота возвещённой им правды. Разумеется, было бы нелепо требовать от него больше, нежели он мог дать. Его открытие совершенно формально и потому недостаточно. Он поведал нам, что дух есть чистая динамика, огненный вихрь, что его нормальное состояние — раскалённость, а угасание — немощь. Показание безмерно важное, основное! Но ведь одним знанием не проживёшь. Пушкин безотчётно упростил задачу, оградив человека со всех сторон фатализмом: жизнь безысходна, но зато и безответственна; пред властью стихии равно беспомощны зверь и человек. Человек в глазах Пушкина — лишь аккумулятор и орган стихии, более или менее ёмкий и послушный, но личности Пушкин не знает и не видит её самозаконной воли. Его постигла участь столь многих гениев, ослеплённых неполной истиной: подобно Пифагору, признавшему число самой сущностью бытия, Пушкин переоценил своё гениальное открытие. Оттого Пушкина непременно надо знать, но по Пушкину нельзя жить. Пламенем говорят все поэты, но о разном; он же пламенем говорил о пламени и в самом слове своём выявлял сущность духа.

Пушкина справедливо называют русским национальным поэтом; надо только вкладывать в эти слова определённый смысл. Как из-за Уральских гор вечно несётся ветер по великой русской равнине, день и ночь дует в полях и на улицах городов, так неусыпно бушует в русской душе необъятная стихийная сила, и хочет свободы, чтобы ничто не стесняло её, и в то же время томится по гармонии, жаждет тишины и покоя. Как примирить эти два противоречивых желания? Запад давно решил трудную задачу: надо обуздать стихию разумом, нормами, законами. Русский народ, как мне кажется, ищет другого выхода и предчувствует другую возможность; неохотно, только уступая земной необходимости, он приемлет рассудочные нормы, всю же последнюю надежду свою возлагает на целостное преобразование духовной стихии, какое совершается в огненном страдании, или в озарении высшей правдой, или в самоуглублении духа. Только так, мыслит он, возможно сочетание полной свободы с гармонией. Запад жертвует свободой ради гармонии, согласен умять мощь стихии, лишь бы скорее добиться порядка. Русский народ этого именно не хочет, но стремится целостно согласовать движение с покоем. И те, в ком наиболее полно воплотился русский на-

циональный дух, все безотчетно или сознательно бились в этой антиномии. И Лермонтов, и Тютчев, и Гоголь, и Толстой, и Достоевский, они все обожают незаконную, буйную, первородную силу, хотят её одной свободы, но и как тоскуют по святости и совершенству, по благолепию и тишине, как мучительно, каждый по-иному, ищут выхода! В этом раздвоении русского народного духа Пушкин первый с огромной силой выразил волю своей страны. Он не только формулировал оба требования, раздирающие русскую душу, правда, больше выразив жажду свободы, нежели жажду совершенства (потому что он был восточнее России, в нём текла и арабская кровь); но умилением своим, этим молитвенным преклонением пред святостью и красотой, он и разрешил ту антиномию практически, действительно обрёл *гармонию в буйстве*. В его личности ущербность сочеталась с полнотой; оттого его поэзия — не мятежное, но гармоническое горение; она элементарно жжёт всех, кто приближается к ней, — так сказать, жаром своим разжигает скрытую горючесть всякой души. А это — драгоценный дар людям, ибо жар сердца нужен нам всем и всегда. Он один — родник правды и силы.

* * *

Настоящая статья дважды удостоивалась внимания печати: когда первоначально была прочитана публично, и после появления её в философском ежегоднике «Мысль и слово». Отвечать на возражения было бы излишне: ответить должна, насколько сумеет, вся эта книга⁵⁵. Но два упрёка, сделанные мне, требуют фактического разъяснения. И. Н. Игнатов, изложив мою статью, писал: «Вы видите, какое пенистое, какое искромётное шампанское. Страсть, разнузданность, ураган стихийного стремления! Лучше самая пагубная страсть, лучше исступлённость, чем разум. Долой эволюцию, долой прогресс, долой просвещение и науку! — И это всё говорил Пушкин? Правда ли это? Неужели правда? Но, если мы вспомним, какая масса митингов происходила около него на Страстной площади, какие агитационные речи слышал он, не мудрено, что он сам ими заразился и стал говорить то, о чём не смел и думать в течение всей своей земной и послеземной жизни». И. Н. Игнатов так и озаглавил свой фельетон: «Пушкин — максималист» (Русские ведомости, 14 марта 1918 г.). Намёк относится, конечно, к тем митингам, которые кипели вокруг памятника Пушкину в период большевистского

переворота, то есть в конце 1917-го и в начале 1918 г.; но моя статья была написана в царствование Николая II и публично читана в январе 1917; следовательно, если я выставил его, по словам И. Н. Игнатова, «агитатором большевизма и анархизма», то сделал я это не под влиянием большевизма, о котором тогда и помина не было. — Другой упрёк сделал мне Ю. И. Айхенвальд в «Речи» — упрёк в том, что я умолчал о статье Д. С. Мережковского, в значительной степени предвосхищающей мои выводы⁵⁶. В плагиате я не повинен: я действительно не читал статьи Мережковского о Пушкине. Прочитав её теперь, я в полной мере признаю за нею первенство относительно многих существенных соображений о поэзии Пушкина, изложенных в моей статье, и радуюсь этим совпадениям. На другой, философский упрёк Ю. И. Айхенвальда, — что я искажил понятие бездейственности, — правильно ответил за меня Н. Я. Абрамович, определив бездейственность, о которой идёт речь, как «неподвижное созерцание, в глубине которого заключена величайшая и напряжённейшая внутренняя активность».

1917

